

В. А. Малахов

ФЕНОМЕН ПРИКОЛ

глянул заицька в окно —
стало заицьке смешно...
Из наблюдений

Давным-давно, когда автор этих строк был молод и жизнерадостен, на неоглядных просторах Страны Советов то и дело можно было встретить киоски под вывеской, прочитываемой то ли как «Союзпечаль», то ли как «Союзмолчать», точно уже не припомнишь. Рядом с богато, по тем временам, иллюстрированными журналами, как-то «Трибуна Лектора», «Социалистическое самогоноварение», там всегда можно было найти какую-нибудь спортивную газетенку, расческу, дырокол, карманную книжицу, удобную для чтения в дороге; особенно почему-то запомнился аппетитно пахнувший сборник избранных стихов о партии «Рука миллионнопалая» с изображением упомянутой Руки на бумажной обложке. Зазывный рисунок некогда побудил меня бросить монету на орошенный дождем пластмассовый столик; унылый киоскер долго выщупывал сдачу, пожелтевшими от курева пальцами роясь в жестянке, святотатственно утвержденной на перехваченной шпагатом стопке запылившихся от неупотребления томов; то было отмеченное высокой наградой, но невыносимо скучное само по себе юбилейное издание «Шляхом статевиx збочень»; некоторых из числа его авторов я знал, а потому взглянул на грудку респектабельной макулатуры не без злорадства. Зато с какой отрадой раскрыл я затем в поезде, уносившем меня прочь из Мавзолейска-Днепровского, счастливо приобретенный сборник. Некоторые строки, принадлежащие вдохновенному перу лучших поэтов нашей страны, вспоминаются до сих пор, например, такая: «От Колымы до Украины народ и партия едины».

Теперь нет уж той родины, нет той страны, и поводы для шуток у нас теперь совсем другие. Решусь сказать, что определенный вид юмора, едва ли не самый распространенный в советское время, вымирает на наших глазах навсегда — а был он по-своему юмором добрым и светлым, и служил опорой тем же незаметно-прекрасным человеческим качествам, что и чудные советские мультики, и нежные песенки для детей всякого возраста, и стихи о любви, возвышенной, как нигде в мире... Кто спорит, в эпоху высокого застоя, когда все это было возможно, в нашей жизни было немало гнусного, но существовали в ней и своеобразные зоны покоя, ниши, где можно было вольготно расположиться с друзьями, зная, что впереди много таких же застойных дней, что начальство наше не поумнеет, а с другой стороны, и на Лубянку вроде бы не поволокут — во всяком случае, этого уже не боялись. Были вещи, одиозность и непристойность которых была очевидна для всякого думающего человека, — а вместе с тем, была и возможность высказывать свое отношение к ним — разумеется, только в виде шутки, но в этом, повторяю, была и своя прелесть. Вся огромная страна смеялась, подтрунивала и язвила, по существу, над одним и тем же; а поскольку смех есть выражение свободы, это создавало чарующую, хотя и замкнутую в сугубо «душевном» измерении человеческого бытия перспективу *солидарности в свободе*: красный корпус казенных страшилок вопреки собственной воле перестал быть страшен, а стал смешон, и всеобщее понимание окончательной сути дела позволяло представлять и разыгрывать на этом широком фоне самые невероятные, комичные до одурения экстраполяции жизненного удела «человека, который советский». Чукчи и китайцы, разведчики и контрабандисты, гомики и герои гражданской войны, одесситы и все прочие, Штирлиц с Мюллером, Петька с Чапаевым являли внутреннему взору любителя тогдашних анекдотов и острых слов грандиозный *spectaculum mundi*, мощнейший аппарат понимания мира — на началах, повторяю, душевной солидарности и свободы... Во многом именно наличие этого аппарата понимания или, если с другой стороны посмотреть, этого великолепного, мягкого

защитного слоя в значительной степени позволяло позднесоветскому человеку, оставаясь, несомненно, конформистом, подспудно впитывающим всю мерзость окружающей среды, вместе с тем субъективно никоим образом *не отождествлять себя* с официальными идеями, ценностями и лозунгами, определяющими правила игры в этом мире, сохранять по отношению ко всему этому известную содержательную дистанцию, в пределах которой находилось место и для внутренней свободы, и для подлинной человечности. (Жаль, кстати, что этот существеннейший момент зачастую выпадает из поля зрения тех критиков и историков советского строя, которые рассматривают данную ситуацию со стороны, не вникая в существо обусловленного ею неповторимого человеческого опыта).

Ныне, увы, анекдоты той поры выветрились, утратили свой первозданный комизм. Наряду с другими смешными историями, их сортируют, распродают с эстрады и с лотка — серия за серией, партия за партией... И смеется над ними, если смеется, уже совершенно другой потребитель. Да и вообще что-то не смешно становится жить в этом мире, господа, не так ли? Что-то существенное для смеха мы все-таки утратили — презумпцию ли солидарности, душевную ли широту, чувство конечной неподвластности року, надежду на «авось» — кто знает?..

Почему, собственно говоря, над кровавым тираном, мучителем миллионов людей, смеяться в конце концов оказывалось можно, а над тупым скинхедом или киллером — нет, не получается? Почему Чернобыль породил столько анекдотов, а пандемия СПИДа — никаких? Неужели до такой степени поколеблено в современном сознании фундаментальное положение культуры о том, что *если человек здоров, то это надолго*? Или просто — невозможно смеяться над тем, что не имеет лица?

Я понимаю, что задавать такие вопросы глубокомысленнее, чем пытаться на них ответить. Я и не буду заниматься поиском таких ответов. Гораздо увлекательнее, на мой взгляд, **проследить, какие же формы юмора приходят на смену привычным шуткам и остротам прежней поры, ныне катастрофически перестающим быть смешными.** В поисках предмета для подобных размышлений нам, к счастью, далеко все-таки ходить не нужно. Феномен, о котором пойдет речь на последующих страницах, — вот он, перед нами.

Уважающая себя молодежь нынче, как известно, не шутит, а *прикалывается*. Что же такое *прикол*? Руководствуясь — если уж надо чем-нибудь руководствоваться — замечательной идеей Г. Зайферта о «герменевтике жизни» [3], отмечу прежде всего: прикол — это, безусловно, действие при помощи чего-то *колющегося*. Не поражающего, слава Богу, насмерть, не рвущего мясо (*sarkázō* [греч.]), не дробящего на куски (*discutere* [лат.]), но все же вызывающего ощущение весьма резкое и запоминающееся. Причем укол прикола — это, столь же очевидным образом, укол—реакция, ответ на спровоцированное действие. Или, еще точнее, укол, так сказать, поэтапный, предполагающий определенную последовательность операций — поистине, *прикалывание*. Вас поманили каким-нибудь совершенно, казалось бы, очевидным стимулом, предполагающим естественный и прозрачный образ действий. Вы протягиваете руку за одиноко лежащим на мостовой кошельком, пытаетесь объяснить дорогу незадачливому иностранцу, ищете способы развлечь девушку, изнывающую, как вас уверили, от одиночества — и вот тут-то и накалывается: кошелек убегает прочь, мнимый иностранец впадает в ярость, а у трогательной девушки оказывается ревнивый и злобный жених. Вас внезапно подсекают — остается немо раскрывать рот и бить хвостом об землю. Говорят, знаменитый Диоген Синопский однажды закричал: «Эй, люди!» Народ, естественно, сбежался; тогда Диоген напустился на собравшуюся толпу с палкой, приговаривая: «Я звал людей, а не мерзавцев» [1, сс. 243-244]. Несомненно, это был прикол. Или еще пример: некогда английский король Карл II собрал членов Королевского общества и попросил их объяснить, почему дохлая рыба весит больше, чем живая. Выслушав разнообразные тонкие объяснения на этот счет, король объявил, что вес-то одинаков [2, с. 128].

В конце концов, став жертвой подобных историй, вы, возможно, будете готовы смеяться над самими собой. Или не готовы — но от этого будет только смешнее тем, кто все это подстроил. Речь, повторюсь, не о том, захотите ли вы в таком случае посмеяться, а будете ли вы *готовы* — в этом основное отличие от добродушного милого розыгрыша, предполагающего, что смех самого разыгрываемого — необходимый венец общего веселья. Напротив, прикол — сублимированное проявление воли к самоутверждению, «приколоть» кого-то значит хоть в чем-то доказать свое превосходство над ним. В компании, где «прикалываются», не может возникнуть желание взяться за руки и от души посмеяться над чем-нибудь всем вместе. Добродушное приволье совместного хохота здесь сменяется нервной атмосферой интеллектуальной борьбы под покровом веселья, которое, однако, никак не назовешь показным, — веселья острого, внутреннее агрессивного, перебегающего, точно пожар, от одного «приколотого» субъекта к другому. Разумеется, в подобном типе смеховой культуры при желании можно открыть бездну положительных сторон. То, что «прикольный» юмор изгоняет с математической непреложностью, — это наивность: наивное доверие к очевидностям бытовым, нравственным, интеллектуальным, каким угодно. Вы полагаете, что Вами интересуется Нобелевский комитет или уголовный розыск, Вы ловите на себе взгляды прекрасной незнакомки, а на самом деле все подстроил Ваш сосед, которому нечего делать и который теперь с удовольствием наблюдает, как-то Вы распорядитесь этими своими догадками. Когда таких ситуаций становится много, когда они становятся нормой человеческих взаимоотношений, Вы, естественно, понемногу перестаете доверять своим страхам, восторгам, надеждам, равно как и адресованным Вам обращениям других людей. Но может ли подобных ситуаций, вообще говоря, быть достаточно много?

Здесь нам потребуется сделать следующий шаг в нашем опыте герменевтики жизни. В смысле, проясненном до сих пор, и Диоген, и Карл II были, несомненно, приколисты, как и несметное множество других персонажей истории человечества. И все же не случайно самое понятие «прикол» появляется и приобретает широкий и общепонятный смысл именно в наше время. Оно становится характеристикой определенного способа мироотношения именно постольку, поскольку сам феномен прикол утрачивает свою индивидуальную завершенность и обособленность, или, если угодно, — приобретает ту степень нивелирующей всеобщности, «размазанности» по всему полю культуры, которая и знаменует подлинную полноту реализации его внутреннего смысла. Прикол как «прикол», т.е. как один из ключевых элементов современного мироотношения, не может не быть феноменом, во-первых, массовым (неограниченно-множественным), и во-вторых — редуцированным, способным существовать и обнаруживаться в условиях замены провоцируемого действия «прикалываемого» субъекта соответствующей внутренней (интеллектуальной или эмоциональной) антиципацией. Прикол становится феноменом культуры, когда выражение «приколно!» мы можем слышать достаточно часто, едва ли не на каждом шагу; а это, в свою очередь, сопряжено с тем, что вас не будут особенно дергать, побуждая взвешивать дохлую рыбу или вызывать саперов, чтобы обезвредить старый портфель с тикающим будильником — хотя это, разумеется, не исключено. Для человека, привыкшего мыслить собственными когиталиями, достаточно просто совершить этот самый внутренний акт — представить себе идиота, который все это будет делать, или красу самих обстоятельств, делающих людей такими идиотами. В конце концов, сгодится любое достаточно острое, покалывающее (отнюдь не пронзающее!) внутреннее движение души — или хотя бы *след* такого движения, безотчетная *память* о нем. Только сведенный к уровню и качеству подобной «размазанной» всеобщности, прикол, позвольте это повторить, действительно становится феноменом современной культуры.

Впрочем, способность памяти ангажируется прикольным феноменом и в собственно содержательном плане. Редуцированный прикол именно в своей феноменальности не может не содержать и определенный знаковый аспект — собственно, феномен знаковости,

вовлекающий в свое самораскрытие ресурсы культурной памяти. Это вовлечение специфично: не следует упускать из виду, что при-кол сам по себе — феномен острый, но поверхностный; он не просто не требует никакой глубины восприятия, но прямо эту глубину истребляет, так же, как и наивность (см. выше). Катализируя процессы уплощения, «поверхностневания» не только сферы человеческих чувств, но и самого постсовременного мира, прикольное восприятие переводит то и другое в ведение таких категорий, как «забавно», «любопытно» и проч. Но почему, покамест, забавно и любопытно, если речь идет не более чем о поверхности с ее элементарной, стандартной (в весьма уместном в данной связи компьютерном варианте — электронной) структурой?

Вот тут-то мы, видимо, и сталкиваемся с подспудной непростотой и многозначностью такого агрессивного в своей очевидной одноплановости явления, как прикол. Ведь сама внезапность и quasi-физиологическая острота хорошего прикола исключает чрезмерно рационалистические или назидательные его формулировки; как взбитые сливки в киселе, такой прикол плавает в море абсурда, абсурд же — опять-таки, хороший, добротный человеческий абсурд — немислим вне предположения о некоей трансценденции бесконечного (т.е. не ограниченного никакими мерками, производными от наличной ситуации) смысла. Мы предполагаем смысл, мы взыскуем его и сталкиваемся с его очевидным отсутствием — отсюда абсурд. Мы несем в себе — пока еще несем! — память полноты бытия, его неизбежного очарования и трагизма, и вот — находим себя внезапно захваченными опасной легкостью, безопорностью поверхностного мира, протыкаемого вместе с нами насквозь жалом очередной издевательской колкости — и это прикол. Причем, чем прикол острее, чем он комичнее, тем большую смысловую глубину приходится предполагать в его потусторонности, тем более мощные пласты человеческого опыта он выжигает — а вместе с тем, странным образом, и удерживает. Удерживает, конечно, не иначе, чем удерживает очевидность, наивность и непосредственность: требуя и культивируя их как материал для собственного потребления. Можно смело утверждать, что вообще прикол как феномен и как элемент смеховой культуры существует и будет существовать ровно до тех пор, пока не выветрились у современного человека тяга к очевидности, непосредственность отношения к простейшим реалиям жизни — и историческая память.

Колоритный пример в этом отношении являет нынешний способ функционирования на периферии массовой культуры предметно-символических реликтов былой советской действительности. (Одесситы и гости Одессы могут составить представление об этом сюжете, некогда обеспечивавшем существование целого художественного направления, хотя бы посетив «советский» зал известного в городе ресторана «Дежа вю»). Все, относящееся к этой сфере, от крылатых лозунгов и эмблем советской эпохи вплоть до «красивых» милицейских фуражек, пионерских галстуков и т. д., давно составляет атрибутику соответствующей разновидности приколов, ныне уже почти утративших свой комизм. С одной стороны, вполне очевидно, что без упомянутой атрибутики данная разновидность приколов просто не существует, а поэтому те, кто небезразличен к этому виду комизма, должны заботиться о постоянной актуализации необходимого арсенала советских вещей, включая и материальное воспроизведение последних. С другой же — весь этот предметно-символический антураж оказался бы решительно ни к чему, если бы в чувствах и сознании нынешних поколений постсоветских людей не шевелились бы еще, пусть все слабее и слабее, какие-то подлинные воспоминания, подлинная память о порывах и трагических безднах той удаляющейся эпохи...

Таким образом, есть, на мой взгляд, основания рассматривать прикол в ряду тех относительно немногих постмодернистских по своему существу образований нашей нынешней культуры, которые, маркируя собой решительное отстранение от «почвы и крови» традиционного жизненного устройства, вместе с тем в самой своей деконструктивистской всеядности воспроизводят семиотические контуры упомянутого

устройства зачастую точно и чисто, хотя и не без налета неизбежной карикатурности. Извлеченные из непосредственного жизненного контекста, эти семиотические контуры, словно антенны в пустоте небес, вспыхивают порой, окруженные призрачными облаками воспоминаний, придавая культурному ландшафту мгновенный облик устойчивости. Если традиционный жизненный мир европейского человечества в какой-то мере продолжает свое существование, то не в последнюю очередь — благодаря таким пожирающим его останки постмодернистским феноменам, как прикол, «прикольный» тип комизма. Разумеется, гальванизируемому таким образом жизненному миру недостает кое-чего существенного: самой субстанции жизни. Но ведь не в жизни же счастье, господа!

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.
2. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. – М.; Екатеринбург, 2000.
3. Юркевич Ю.Н., Попова Н.В. «Герменевтика жизни» как «практическая философия» образования XXI века // “Університетська освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку”. Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2000. – С. 82–85.